



Центр "Петербургское Востоковедение"
St.Petersburg Centre for Oriental Studies

**ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ВОСТОКОВЕДЕНИЕ**

**ST.PETERSBURG JOURNAL
OF ORIENTAL STUDIES**

**выпуск 10
volume 10**

**Центр
«Петербургское Востоковедение»
Санкт-Петербург
2002**

РЕЦЕНЗИИ

Размышления об «Осадной записи» А. Н. Болдырева¹

«Осадная запись» — четвертая книга в серии «Дневники и воспоминания петербургских ученых», выпускаемой издательством «Европейский дом». Это дневник известного петербургского востоковеда профессора А. Н. Болдырева (1909—1993). Пять общих тетрадей, которые содержат почти ежедневные записи, начиная с 9 декабря 1941 г. по май 1943 г., потом, до февраля 1944 г., — с некоторыми пропусками, но относительно регулярные, а далее — от случая к случаю вплоть до 14 августа 1948 г. Эти записи сделаны в Ленинграде, где Александр Николаевич провел всю войну. Иными словами, перед нами летопись Ленинградской блокады. Не официальный отчет, не мемуары, не старательно собранные отрывки чужих рассказов, не историческое сочинение, осмысляющее прошлое, — подлинные страницы, отражавшие день за днем реальные факты, мелочи блокадного быта (вплоть до физиологических подробностей), беглые портреты людей, с которыми сводила судьба, происшествия, наблюдения, слухи², переживания, взаимоотношения дома и на работе. Записи, которые делались для себя («Эта тетрадь — единственное мое утешение в эти мрачные дни»), первоначально без всякой мысли о будущей публикации. Даже впоследствии, когда мечтается о том, что когда-нибудь будут «заслушаны показания» этих тетрадей, он их не редактирует, перечитывая, не вычеркивает ничего, иногда лишь делает небольшие добавления и уточнения.

¹ Болдырев А. Н. Осадная запись (Блокадный дневник) / Подготовили к печати В. С. Гарбузова и И. М. Стеблин-Каменский. СПб., 1998. 365 с.

² Если слухи не подтверждались, то об этом всегда свидетельствует более поздняя авторская помета.

Издавшие «Осадную запись» — вдова А. Н. Болдырева, профессор-тюрколог В. С. Гарбузова, и его ученик, заведующий кафедрой иранской филологии Восточного факультета СПбГУ чл.-кор. РАН проф. И. М. Стеблин-Каменский, сын близкого друга А. Н. Болдырева, — оставили авторский текст в неприкосновенности, даже в тех местах, где автор выглядит не самым лучшим образом. То есть эти тетради — неприукрашенное свидетельство своего времени, и в этой подлинности главная особенность книги, выделяющая ее из всей «блокадной» литературы.

«Тетрадам» предпосланы два предисловия. Первое — «Об А. Н. Болдыреве и его "Осадной записи"» — принадлежит перу И. М. Стеблин-Каменского. Здесь излагается история семьи Александра Николаевича (оба деда его были генералами) и его краткая довоенная биография; далее следует сжатая, но очень емкая характеристика самой «Осадной записи». В предисловии В. С. Гарбузовой, второй жены А. Н. Болдырева, больше внимания уделяется его личной жизни, без знакомства с которой, по справедливому утверждению автора, многие места «Осадной записи» могут оказаться непонятными (с. 16). В частности, объясняется, почему А. Н. был отозван из народного ополчения, куда он сразу же записался добровольцем, и как случилось, что вскоре после войны он ушел из семьи, с которой пережил все трудности блокадных дней. Надо отдать должное автору: все это изложено крайне деликатно, с большим тактом, очень уважительно по отношению к первой жене Александра Николаевича; действительно, это предисловие проясняет многое, и его необходимость не вызывает сомнений.

Итак, правда о ленинградской блокаде. Автор в первой же записи отмечает: «Это не хроника осады, а запись назидательного в области отражения осадного времени в моем личном, простом, маленьком быту, в быту моего дома и, быть может, нашей команды» (с. 25). Имеется в виду противопожарная команда в Эрмитаже, командиром которой был А. Н. Болдырев). Но в этом «частном характере» книги и заключается особая ее ценность.

Собственно, с точки зрения известной нам блокадной литературы, судьба семьи Болдыревых — нетипична: ведь чаще всего рассказывается или о героических буднях блокады, или о трагическом вымирании от дистрофии целых семей. По «Осадной записи» читатель сможет проследить тактику выживания семьи в экстремальных условиях. На этом я, несколько выходя за рамки обычной рецензии, позволю себе остановиться более подробно, основываясь также на собственном блокадном опыте.

Прежде всего — это настрой на активную деятельность. Оба — и Александр Николаевич, и Галина Федоровна, его жена, не чураются никакой работы, если она может добавить что-то к скудному карточному рациону. Галина Федоровна, помимо того что, как говорится, «держит дом» и отоваривает карточки, работает в штабе районного ПВО, что дает ей карточку I категории, становится донором, кроме того, работает в ЖАКТе, участвует в расчистке улиц, дежурит на крыше во время воздушных тревог и т. п. Александр Николаевич работает в Университете до его эвакуации в марте 1942 г., в Эрмитаже, Публичной библиотеке, Институте востоковедения, на радио. Всюду (пожалуй, за исключением Радиокomiteта) приходится прилагать немало физических усилий для спасения книг, рукописей и предметов искусства, но это дает лишние обеды в столовых, иногда «без выреза» продуктовых талонов. Он читает лекции в воинских частях и госпиталях — за обед. Он колет и носит дрова соседям за несколько папирос. В связи с тем, что места службы расположены не рядом, он много ходит пешком. Словом, он не дает себе расслабляться, даже когда силы, казалось бы, на исходе и так хочется плюнуть на все и лечь... Все передвижения от работы к работе, от одной столовой до другой скрупулезно фиксируются в дневнике. Действительно, в общей сложности это небольшие концы.

В. С. Гарбузова пишет в предисловии, что выживанию Александра Николаевича способствовали его изрядные физические нагрузки (с. 21). С этим не будешь спорить, однако тут есть одно «но»: это безусловно справедливо для молодых и изначально здоровых людей, какими были Александр Николаевич и Галина Федоровна, не всегда — для более

старшего возраста, а у стариков вообще не хватало надолго жизненных ресурсов для активного образа жизни в тех условиях. Пример тому — Елизавета Васильевна, мать Александра Николаевича: она, в свои семьдесят лет, деятельна, сколько может — походы и в магазин с раннего утра, и с саночками — за продуктами, оставшимися от умершего родственника, на ней и доставка снега со двора — для умывания, и «самая тяжелая, противная грязная работа по дому» (с. 43). А как не вспомнить пронзительный до слез эпизод, когда 10 декабря 1941 г. Елизавета Васильевна приходит пешком с Загородного проспекта в Эрмитаж на доклад любимого сына и приносит, чтобы подкормить его, маленький кусочек хлеба с салом, оторванный от своей порции (с. 28). Но с 13 февраля 1942 г. в дневнике чуть ли не на каждой странице появляются тревожные записи о том, что мама все больше и больше слабеет, и наконец 3 мая ее настигает смерть: силы исчерпаны. Старики в блокаду умирали первыми, Елизавета Васильевна еще продержалась героически долго.

Вероятно, здесь сыграло роль то, что семья существовала все же не на одни только карточные выдачи, этих продуктов попросту не хватало бы на упомянутую физическую мобильность, особенно для Александра Николаевича: женщины все же легче переносили голод. Как уже упоминалось, добавочные продукты, в том числе питательное соевое и овсяное молоко, входили в рацион столовых Дома ученых, Союза писателей и др., где получал обеды Александр Николаевич; кроме того, Галина Федоровна оказалась незаурядной хозяйкой: у нее были какие-то продовольственные запасы, и она расходовала их очень рационально, а кроме того, в семье имелись кое-какие ценные вещи, которые в трудную минуту можно было продать или обменять на продукты; на продукты же порой менялись выдаваемые по карточкам папиросы и водка¹.

Но даже при этих добавках существовать в первую блокадную зиму

¹ Кстати, я по наивности не предполагала, что в Ленинграде уже в 1941 г. существовал «черный» продуктовый рынок; по моим представлениям, он возник позже, когда открылась ледовая дорога через Ладогу.

было невероятно трудно. И тут огромную роль играла организация быта — это я знаю по собственному блокадному опыту. У Болдыревых, благодаря стараниям Галины Федоровны, регулярно готовилась хоть какая-то горячая пища и всегда что-то оставлялось на утро, чтобы не выходить из дому натошак; по возможности поддерживались чистота и тепло — последнее уже заслуга Александра Николаевича, в обязанности которого входило снабжать семью дровами. И все-таки в самое трудное время они бывали на грани гибели, и «лапа голода и уныния» (с. 30) не раз «оскверняла» их дом. Помогала продержаться и взаимопомощь двух родственных семей: Марианна Федоровна Граменицкая, сестра Галины Федоровны, пианистка, часто выступавшая с концертами в воинских частях, делилась с Болдыревыми продуктами, получаемыми в качестве гонорара (об этом постоянно с благодарностью упоминается на страницах дневника), а Александр Николаевич заготавливал дрова и на ее семью.

Однако, как уже было сказано, «Запись» не ограничивается бытом одной семьи. Она дает как бы «срез» блокадного общества. На страницах дневника появляются фигуры дистрофиков на грани гибели или умирающих, по разным причинам дошедших до края, а на другом полюсе — сытые, жирные начальники и розовые откормленные девицы, устроившиеся «при еде»¹. И сытых было не так мало, оказывается, «жрущих вдвое больше (чем сам А. Н. при всех своих дополнительных пайках. — А. Д.) на внешне вполне законных основаниях — тысячи» (1 января 1943 г., с. 236). Об этом, по-моему, никто из историков блокады не пишет, равно как о мародерстве (см. с. 269, история с управдомом), коррупции², ресторанных банкетах для начальства (с. 181—182).

Любопытны наблюдения над общественными настроениями, над поведением людей — от сознания собственной обреченности³ до самоупоенности соб-

ственной сытостью (с. 177); от стремления всеми силами избежать отправки на передовую до жажды как можно скорее вернуться на фронт (женщины в госпитале, где А. Н. Болдырев читал лекцию). И неожиданные всплески желания помочь со стороны совсем незнакомых людей.

Но особую ценность представляют наблюдения психологического плана, прежде всего — самонаблюдения. Собственно говоря, весь дневник — отражение тех нравственных и психологических изменений, которым неизбежно подвергались рядовые жители блокадного Ленинграда. Я имею в виду не обязательно так называемый «голодный психоз» с припадками агрессии, буйства или тихий, когда страдающий от голода человек прячет под матрац корочки хлеба, объедки, а иногда и только что полученные по карточкам продукты — «запасы на черный день» (это все мне приходилось видеть). Речь идет не о том: человек внешне как будто нормален, адекватно воспринимает действительность, но в его мыслях под влиянием хронического недоедания происходит некий болезненный сдвиг в сторону пищевых интересов. Если читатель никогда ничего подобного не испытывал, его поразит, даже будет поначалу шокировать скрупулезное перечисление в каждой записи, где какой давали обед, сколько талонов вырезали, что ели дома, какие нормы выдачи по карточкам и что удалось получить, и т. д., и т. п. И это у такого-то изысканного интеллектуала, каким кто-то помнит Александра Николаевича, кто-то знает по рассказам! А тут: «По улицам хожу только ищейкой: не лежит ли где карточка или папироса» (10 марта 1942 г., с. 68—69).

Но процесс этот был неизбежен⁴, и то, что он зафиксирован так откровен-

¹ «Ежедневно свирепствуют дикие скандалы между учеными едоками и столовыми заправилами» (с. 31).

² «В поликлинике можно купить все: любой диагноз, бюллетень, освобождение от всех видов государственного принуждения, в том числе и от военной службы, конечно» (с. 259).

³ Например, разговор двух старушек-уборщиц, питающихся по II категории: «Неужели при-

дется помирать в эту зиму?» — «Ну что ж, и помрете, я тоже могу помереть. Вот перед смертью хотела бы только раз поесть как следует, пообедать бы раз хорошенько и помереть» (10 декабря 1942 г., с. 220).

⁴ Впрочем, совершенно поразителен рассказ о некоем холостяке-балетомане, который от голода еле волочил ноги, но тратил деньги не на продукты, а на книги («Могучее неподчинение идеи животному гнети», с. 185). Но это — исключение, подтверждающее общее правило.

но, дает прекрасный материал для психолога и просто для внимательного читателя, который хочет постичь весь ужас тогдашнего существования, а для тех, кто пережил это сам, возможность осмыслить по-новому некоторые явления.

По записям видно, как по-разному проходил процесс дистрофии души и мозга у различных людей — очевидно, в зависимости от психического склада, состояния здоровья, привычек. В частности, у меня вызвала содрогание сцена встречи А. Н. Болдырева в академической столовой (16 декабря 1941 г.) с его «дядей Сашей», А. В. Болдыревым дней за десять до его смерти: «"Мяса, мяса нет здесь сегодня..."», — говорил он с растерянной торопливостью. "Да, действительно нет, — сказал я, — придется побаловаться соевым супчиком". "Где мясо?" — спросил он у меня почти грубо, вдруг, в упор уставив странный, блуждающий взгляд» (с. 31). Дело в том, что я очень хорошо помню Александра Васильевича до войны, интеллигентнейшего, тонкого, мягкого человека. Читая эту запись, я вдруг поняла механизм возникновения людоедства во время блокады, упоминания о котором также разбросаны по дневнику. Нет, я не хочу сказать, что А. В. Болдырев, выживи он тогда, опустился бы до людоедства, но когда речь идет о натурах более примитивных, это вполне могло явиться логическим продолжением одержимости пищей.

Приходится пожалеть, что Александр Николаевич не начал вести дневник с самого начала войны, хотя бы с начала блокады, тогда можно было бы наблюдать, как возникали и постепенно развивались эти изменения психики. Зато есть возможность проследить, как они постепенно исчезали.

Можно заметить, что уже с середины 1942 г., когда улучшается питание, расширяется и тематика дневниковых записей — события на фронтах, портреты и истории людей посторонних, размышления о происходящем, пейзажные зарисовки. Время от времени (это уже обычно в 1943 г.) отмечается вдруг возникающее чувство насыщения, которое, правда, может тут же смениться прежним ощущением «недоеды» (слово, взятое у Салтыкова-Щедрина) — но при этом все чаще включается самоконтроль, понимание того, что ненасыщае-

мость 1943 года — явление скорее психологическое (я тоже очень хорошо это помню): «...нет уже того священного трепета, того благоговения пищевого, как раньше... Приближение великого часа освобождения от гнуснейшего вида духовных рабств — рабства пищевого» (20 декабря 1942 г., с. 229).

Еще летом 1942 г. он не может заставить себя поделиться хлебом с голодающим («Кусок хлеба в такой дистрофии что значит?»). И все-таки ему перед самим собой уже неудобно: «Это что, рассуждения, призванные заглушить совесть недавнего дистрофика, едва-едва добившегося квазисытости?» (15 июля 1942 г., с. 127). Еще осенью, торопясь получить рационную карточку, он пробегает мимо неподвижно лежащей на ступеньках женщины (правда, получив карточку, он возвращается и помогает ей. 28 октября 1942 г., с. 190). Но внимание к людям за пределами собственной семьи растет неуклонно. Вот он уже способен чем-то поделиться (лекарствами, капустой) с сослуживцем своим Д. В. Семеновым (октябрь 1942 г., с. 171, 179), похлопотать в райсовете о рабочей карточке для уборщицы, той самой, что собиралась зимой помирать (25 декабря, с. 231), и т. п.

А в июле 1943 г., когда ему приходится выбирать между службой в ИВАНе и сытой жизнью кадрового военного, он не считает возможным отречься от Академии (на что легко соглашался в марте 1942 г.): «Я теперь настолько не голоден, что появилась мораль» (10 июля 1943 г., с. 292). В сентябре, когда Александр Николаевич как научный работник получает, наконец, литерную карточку, ему совестно: «Слишком разительна и резка разница с армией достойных, истинно трудящихся, никак не забывших последствия Страшного Времени, живущих на одной служащей карточке» (с. 301).

Внимательный читатель найдет зафиксированными в дневнике еще много черточек этого постепенного духовного возрождения. Еще нюанс: по отдельным эпизодам видно, как понемногу воскресает присущее ему мужское обаяние; апогеем этого становится история с доставкой денег на установку служебного телефона — «брекующий полет над правдой» (30 июля 1944 г., с. 332).

Нет сомнения, что избежать полной моральной деградации в тяжелую блокадную зиму помог творческий характер натуры А. Н. Болдырева, для которой интеллектуальная деятельность — нормальный способ существования. И если блестящие — по сторонним оценкам — доклады о Низами (19 октября 1941 г.) и Навои (10 декабря 1941 г.) можно еще считать инерцией довоенного времени, то помеченная 4 февраля 1942 г. запись («Нашел выполнимую тему: заметку для Изв. АН о втором перфекте», с. 50) дорогого стоит. Ведь это самое черное время блокады¹.

Вдумчивый читатель заметит, что интеллектуальная тема, заслоняемая пищевой, — одна из самых важных в «Осадной записи»: «Усиленно и радостно думаю о двух работах. Исторический роман "Бахрам Чубинэ" (Фирдоуси — Кристенсен — Иностранцев) и сравнение темы "рыцарь перед дамой в замке" у Гургани и Низами» (25 августа 1942 г., с. 145). «Наконец, обретена в Иранкаб-е интереснейшая книга для персостудий, запланированных на академические утра. Это никогда не слыханный мной трактат по поэтике Х. Дихлеви в хорошей литографии с комментарием. Какая умиленная радость охватила меня при мысли о возможности хотя бы кратко, пусть даже не каждодневного, погружения в родные, милые мои и столь никчемные студии!» (20 октября 1942 г., с. 183). Подобных цитат можно было бы привести немало.

Отношения с наукой сложные: то кажется, что мысль работает как никогда свежо и ясно, то возникает ощущение полного творческого бессилия, притом это ощущение даже сильнее к концу блокадного периода, когда организм устал от перенапряжения. В марте 1942 г., накануне мобилизации в кадры (ради военного пайка), чего Александр Николаевич сам добивался, он испытывал внезапный трепет перед изменой: «Теперь мысли против: бросить науку, не выдержать при ней до конца — так ли делали бы настоящие? Однако: какой смысл цепляться за нее, чтобы умереть лишь при ней?» (25 марта 1942 г., с. 75).

Но лекции по истории флота, которые А. Н. читал военным, — не только источник дополнительного питания: он готовит их с увлечением, всерьез, и пользуется успехом у слушателей. Нужно упомянуть еще рецензии по заказам «Звезды», «Смены», радиопередачи, да и просто чтение книг (особенно в трамваях), упоминания о которых разбросаны по всему дневнику, часто с краткой оценкой. Так что интеллектуальная жизнь А. Н. Болдырева не замирала никогда, а если он в «Записи» и говорит о ней слишком кратко, то ведь научные и публицистические замыслы получили воплощение помимо дневника.

И, наконец, сама «Осадная запись» — свидетельство неумирающего духа. Заявлена она на первой же странице не как дневник, а как хроника, то есть предполагает по возможности объективный взгляд со стороны. Автор и стремится к этому: фактов у него больше, чем оценок и переживаний, никакого «копания в себе», наоборот, когда о себе пишется, то беспощадность к собственным слабостям², самоирония³. И при чтении не оставляет мысль: когда Александр Николаевич начинал свою «Осадную запись», не было ли у него подспудной цели духовного самосохранения, ведь пока человек отдает себе отчет в том, что в психике его происходят некие сдвиги⁴, он способен к самоконтролю. И когда автор обращается к своей тетради: «милая моя утешительница», «мой собеседник», «единственное мое утешение в эти мрачные дни», то может быть, нужно добавить и «моя спасительница»?

Позже приходит понимание и объективной ценности «Записи»: «Иногда мне кажется, что самое важное из всего того, что я сейчас делаю — это сии записи» (7 декабря 1942 г., с. 217). Или: «Но сейчас я уже знаю, что эта Запись

¹ Запись накануне: «Последние два дня усиленно тянет к работе (настолько окреп я), но нет книг, текстов» (с. 50).

² «Сегодня я обедал дома и тем нанес жестокою брешь хлебным и кашным ресурсам» (7 апреля 1942 г., с. 86).

³ «Первый раз фигурировал весь день в шикарной синей шубке "хельсинки"» (8 апреля 1942 г., с. 86); «С утра совершил первое прикосновение к Великой Пище в "Северном". Миг, исполненный трепетом переживаний» (26 сентября 1942 г., с. 167).

⁴ «Сейчас мы слишком близки сами все от Черты, чтобы чувствовать по-человечески за других, не только за живот свой» (12 февраля 1942 г., с. 58).

есть дело большое, есть подлинный, правдивый свидетель времен неповторимых и когда-нибудь будут заслушаны ее показания» (15 декабря 1942 г., с. 225). Потому он и думал потом об архиве, ибо по тем временам (да и долгие годы после того) представить свой дневник напечатанным без всяких купюр он, разумеется, не мог.

Поражает литературная одаренность автора. Прежде всего — удивительное владение языком позволяет допускать известные вольности, в частности, множество словесных новообразований, носящих, кстати, обычно иронический оттенок. Чаще всего это аббревиатуры: допхлеб, допзавтрак, питуровень, недопит, небуреустойчивое состояние, дракмеропры, талоностоловое вкушение, хождение по бюрмукам и т. п.

Нельзя не отметить яркую образность мышления: «Медленно, верно, как глетчер, надвигается голодное бедствие. Скванно, обреченно, без возможности шевельнуться, как в тяжком сне, следишь, вперив глаза в исчезающий промежуток» (15 декабря 1941 г., с. 31); «Роковая черта... подсасывает к себе, как течение под устои моста» (29 января 1942 г., с. 47); «Опять начинает воплощаться растаявшая было гнусная харя недоедания. Опять начинают уставляться ее белесые, немигающие глаза» (28 апреля 1942 г., с. 95). Я нарочно выбрала цитаты из ранних записей, когда не до специальных речевых украшений было, само возникало.

А позже будут уже не страшные символы голода, а яркие мазки наблюдений, прекрасные петербургские пейзажи: «Опять, как в прошлом году, город, легендарный застывший Питер, убран в несказанный наряд туманно-перламутровых, розовых и белых цветов, с кровавыми отблесками едва встающего солнца в окнах высоких домов» (10 декабря 1942 г., с. 220); «Мороз опять едкий, солнце, снежно-голубая дымчатая красота» (12 января 1943 г., с. 242); «Повсюду виднелись во мраке скрюченные, странные фигуры, как в диком рембрандтовом сне каком-то» (14 января 1943 г., с. 243); «Опять пальба и кудри вражьего дыма в высоком небе» (4 марта 1943 г., с. 264); «Красные укусы зениток жалили небо» (13 мая 1943 г., с. 287).

И вот, наконец, ведет рассказ уже прежний обаятельный Сандрик: «И в тай-

никах души я сладостно ощущаю, как мой рассказ незаметно отрывается от правды и летит уже несомненно вне ее и над ней, хотя и предельно близко к ней и чуть ли не параллельно ей, как это происходит каждый раз со взлетающим самолетом, разгон которого по земле почти незаметно приобретает качество полета, качество новое, и неизмеримо более совершенное» (30 июля 1944 г., с. 331).

Вот такова «Осадная запись». Правдивая в целом и в деталях, в мыслях и образах, в откровенности и нежелании рядиться в тогу героя. Эта книга интересна и востоковеду, и историку отечественной науки, и историку блокадного Ленинграда, и врачу, и психологу. И просто любознательному читателю.

Книга снабжена удачно подобранными иллюстрациями — факсимиле страничек дневника и снимками разного времени. Правда, один из них, расположенный на левой стороне фронтисписа, может вызвать у читателя недоумение: А. Н. Болдырев изображен на нем в военной форме с майорскими погонами, тогда как из дневника явствует, что служил он в армии в 1942 г., когда погоны еще не были введены, да и в чине майора тогда не был. Надо полагать, что снимок относится к 1945 г., когда автор после войны был командирован в Германию и должен был надеть военную форму, но об этом эпизоде его биографии ни в одном из предисловий не упомянуто, а в дневнике, который тогда велся уже нерегулярно, об этом сказано глухо и много позже: «Уже начали дыряться многие вещи, привезенные мною из Германии» (31 января 1947 г., с. 350).

Книга выгодно отличается от предыдущих выпусков серии наличием аннотированного именного указателя (воспоминания И. М. Дьяконова и М. Б. Рабиновича указателей вовсе лишены, указатель к дневникам И. И. Толстого составлен без аннотаций). Такой указатель с продуманной системой отсылок был здесь необходим, поскольку в дневнике многие действующие лица обозначены сокращенными «домашними» именами, прозвищами, инициалами, и мы должны быть благодарны издателям, взявшим на себя труд по их идентификации. К сожалению, из указателя исключены все те имена, которые составителям не удалось

раскрыть (см. с. 13), хотя часть их на самом деле раскрывается довольно легко¹. Можно отметить и еще кое-какие недочеты: отсутствие некоторых отсылок², пропущенные указания на страницы³, разночтения в фамилиях и инициалах⁴.

Такого рода технические недочеты можно легко устранить при переиздании, которое потребует через несколько лет, ибо эта книга — уникальный документ эпохи — скоро станет библиографической редкостью.

А. А. Долинина

Вартанов Ю. П.
Еврейские палеотипы
Российской Национальной
библиотеки: Научное опи-
сание. СПб., 1996. 166с.

Издание данного Каталога является, безусловно, важной вехой в развитии книговедения и в первую очередь — еврейской библиографии. Специальные каталоги палеотипов (т. е. книг, напечатанных до 1551 г.) вообще редки. Это объясняется, очевидно, довольно большим (в сравнении, например, с инкунабулами) репертуаром издававшихся книг, тиражами изданий, доходившими до нескольких тысяч экземпляров и достаточно широкой представленностью палеотипов в фондах многих крупных книгохранилищ. Но все же традиция подобных каталогов применительно к латинской книге существует. И тут, в первую очередь, следует вспомнить описания наиболее близких нам «географически» коллекций Петербургского университета

и Львовской научной библиотеки⁵. Отдельное описание коллекции *еврейских* палеотипов, насколько мне известно, выполнено впервые⁶. Однако инициативой в области составления каталогов еврейских палеотипов и ограничивается, с моей точки зрения, положительная сторона рецензируемой работы, чтение которой вызывает ряд серьезных вопросов и, увы, заставляет усомниться в профессиональной подготовке (как книговедческой, так и гебраистической) и в добросовестности автора. Целью данной рецензии не является «работа над ошибками» составителя Каталога, поэтому я ограничусь лишь отдельными замечаниями.

Методически, по-моему, совершенно неоправданно расширительное толкование самого термина «еврейские палеотипы». В современном книговедении принято считать «еврейскими» книги (как рукописные, так и печатные) на *любых* языках⁷ и любой тематики, переписанные/напечатанные буквами *еврейского* алфавита. Данное положение естественно, логично и общепринято. По таким принципам построены и описания коллекций еврейских книг и выделены разделы еврейских книг в рамках более широких исследований (национальных библиографий или каталогов крупных собраний и т. д.). Поэтому, открывая «Еврейские палеотипы Российской Национальной библиотеки», ожидаешь описания книг, напечатанных буквами еврей-

¹ Например, известнейший в предвоенные годы оперный артист Н. К. Печковский, близкий друг А. А. Ахматовой профессор-патофизиолог В. Г. Гаршин, профессор-филолог Б. Г. Ремизов и др.

² Например: Анна Павловна (Султан-Шах), с. 39; Ольга Петровна (Соловьева), с. 300.

³ Например, при имени И. Ю. Крачковского отсутствуют ссылки на с. 162 и 332.

⁴ Коковцев и Коковцов (второе правильно) — по всей книге; О. П. Соловьева и О. В. Соловьева (страницы соответственно 361 и 278).

⁵ Каталог палеотипов. Из собрания Научной библиотеки им. М. Горького Ленинградского университета / Сост. А. Х. Горфункель. Л., 1977; Каталог палеотипов из фондов Львовской научной библиотеки им. В. Стефанька АН УССР / [Сост. Р. С. Харабадот, Р. М. Биганский]. Киев, 1986; *Виноградова К. П., Якерсон С. М.* Новознайдені палеотипи. Дополнения до «Каталога палеотипов из фондов Львовской научной библиотеки им. В. Стефанька АН УССР» (Киев: Наук. думка, 1986) // Библиотека — Науці: Збірник наукових статей. Киев, 1990. С. 60—69.

⁶ В вышеупомянутом приложении к Львовскому каталогу (сноска № 1) были описаны восемь еврейских палеотипов.

⁷ Примерами таких языков могут служить идиш (сложившийся на базе верхненемецких диалектов во взаимодействии со славянскими элементами), ладино (на основе литературного испанского языка), еврейско-арабский (на основе литературного арабского языка), каримский яз. (на тюркской основе) и др.